

Борис Ручкан

Р А С С К А З Ъ

М О С Т

— Вам нельзя разговаривать, дорогой товарищ Габай. Вам необходим полный покой. Главное — покой, — повторил доктор. — Страйтесь меньше двигаться в постели, резко шевелиться. Сейчас я сделаю укол, и вы уснете. Утром вам будет легче. Уж вы мне поверьте.

Тов.Габай лежал с закрытыми глазами и дыхание его становилось ровным. Низко склонился над ним доктор.

— Уснул, — сказал доктор, — и ему что-то уже снится.

И еще слышал тов.Габай сквозь сон, как доктор, стараясь не шуметь, выходил из комнаты. Габай не окликнул его. Зачем? Он ведь волен теперь оставить доктора в своем сне.

— Скажите, дорогой доктор, — осторожно начинает тов.Габай, — что вы считаете первичным: сон или бодрствование?

— Видите ли, — говорит доктор. — Вам не следует столько разговаривать, — говорит доктор. — Я лучше уйду, иначе вас не остановить.

— Как же вы уйдете, доктор? Мы ведь едем в автомобиле. Вначале нужно остановить такси. Мы едем в такси, разве вы не заметили?

— Остановите, — говорит доктор. — Здесь я, пожалуй, выйду.

— Я тоже, — подхватывает Габай.

Шофер обернулся к ним всем телом на круглом металлическом сидении. Такие сидения (в них есть дырки больше пятаков) Габай помнит на старых тракторах.

Тов.Габай выбирается вслед за доктором из машины. Машина ("волга" — отмечает тов.Габай) разворачивается. Вот запрыгали, удаляясь, два красных фонаря. Доктор уходил в темноту вдоль дощатого забора. Под ногами его слышно взвизгивали осколки камней.

— Вы меня не поняли, — окликает доктора тов.Габай. — Когда я говорю о сне, то не имею в виду "вечный сон". Последние два слова он видит словно написанными. И они взяты в кавычки.

Габай догоняет доктора.

- И это не от страха вечного сна.

Он так сказал: вечного, хотя написано теперь "ечного".
Буква "в" исчезла.

- Вы напрасно насторожились, доктор. Я не собираюсь сдаваться, - продолжает Габай и старается не думать об исчезнувшей букве. - Я не мешаю вам лечить меня.

А доктор молчит. Папироса прилипла к его губе и он, склонив голову, осторожно отрывается окурок, потом бросает. Тов.Габай следит, как красный огонек чертит красную дугу и не падает к ногам. Он продолжает лететь еле видимый, исчезает далеко внизу. Машинально делает он еще шаг и останавливается. Слева и справа угадывается пустота. Впереди цепочка огней плывет вверх, двоится, двоится, расширяется в желтое полнеба. Чувствует тов. Габай, что колени его подгибаются и он приседает на корточки. Доктор, как тень, повторяет его движение. Лицо доктора в темноте тов.Габай не видит.

Пальцы касаются шероховатого бетона. Теперь они сидят на выпуклом теплом бетоне, протянув ноги навстречу друг другу.

- Где мы? - спрашивает тов.Габай.

- Что с нами? - спрашивает доктор.

Тов.Габай заглядывает вниз. Внизу очень далеко черная поверхность воды вращается медленно, как граммпластинка. Покачиваются, заметно приподнимаясь-опускаясь, желтые дорожки отраженных огней.

Габай поднимает голову и смотрит на доктора. Медленно скользит доктор вниз по выпуклому бетону. Тов.Габай хочет протянуть доктору руку и не может шевельнуться. Вдруг слышит тов. Габай, как жалобно вскрикивают мелкие камни под ногами того, кто идет к ним. И рывками, в такт этим вскрикам притормаживает скольжение доктора. Неподвижно зависает он над бездной.

- На недостроенном мосту находиться запрещено! - чувствует Габай, что окликает их уверенный в своей власти и праве приказывать. Наверно, милиционер. Или переодетый милиционер.

Тов.Габай не хочет расставаться с доктором, но это неизбежно, понимает он. Это необходимое условие, чтобы проснуться в своей кровати.

Через мгновение тов.Габай открыл глаза.

В дальнем углу комнаты ровно и неярко светил зеленый тор-

шер. Ночь за окном.

— Пожалуй, пора, — тихо сказал тов. Габай. — Я одену шерстяной жилет и подыму воротник пальто.

Тов. Габай необходимы три шага, каждый раз три шага, чтобы видеть отчетливо. Так, тремя вращеньями кремальеры, настраивая резкость бинокля.

На четвертом шагу тов. Габай подымал голову и смотрел на старуху.

На пятом шагу цепочка огней по набережной начинала упывать и двоиться, двоилась, двоилась, расширялась в желтое полнеба. Старуху он не видел.

Мысли замедлялись настолько, что за тот один шаг их проносились в сотни раз больше. Мост начинал раскачиваться под ногами и ему стоило усилий не осесть всем грузным телом на мокрые доски. Но от этого в нем не убывало смутное волнение, радостное волнение, может быть даже восторг? Габай не находил другого слова и называл восторгом переживание неверное, зыбкое, однако неподвижное, как столбы полярного сияния.

Тов. Габай знал, что умирает в своей постели. Он бежал из дома. Как Лев Николаевич Толстой из Ясной Поляны, — думал тов. Габай, и думал, что так сравнив, должен слабо улыбнуться.

Лев Толстой записывал в дневник: сделать завтра то-то и то-то. И заканчивал каждый раз: е. б. ж. — если буду жив.

Тов. Габай смерть ожидает у конца моста. Там его Астапово. А он переживает восторг. И не от того, что еще жив. Живет он всегда, долго, а испытывал иначе что-то похожее лишь в детстве.

Тов. Габай родился давно в уездном городке. Теперь этого города нет. Он исчез. Странно, что поселение людей, существовавшее еще лет сорок назад, исчезло. Странно... Но это так.

После революции городу придумали другое имя. Километрах в десяти выше по реке построили гидростанцию и заводы. Там, где может вспомнить себя тов. Габай в первый раз, и помнит долго, по проектам братьев Весниных и французского архитектора Корбюзье возвели новый город.

Новый город размозжила война, оставила груды черных кирпичей и покореженные кровати. Кроватей было, наверно, много. Тов.

Габай видел многие мертвые города, и во всех — странно много кроватей.

После войны на развалинах города построили три башни в мавританском стиле и типовые жилища. На этот раз обошлось без Корбюзье.

Покойнее, если можешь прийти к могильной насыпи близкого человека. Вещность и вечность могилы свидетельствует: он был. Был — не придуман. И не вернется. Не вернется — это так важно, чтобы в конце концов успокоиться и грустить об ушедшем. Поэтому долго шарят железными крюками на дне реки утопленника, поэтому жутко, когда пропал без вести, поэтому ставят памятники неизвестным солдатам.

Тов. Габая тянуло к родным местам, только ни разу не ездил он туда. Там ничего не осталось от мира его детства. ~~Ми~~, Мира, где впервые был испытан восторг. Тов. Габай опять не нашел другого слова, и назвал восторгом переживание неверное, зыбкое, но неподвижное. Неподвижное, как светлое зеркало, укрепленное перед лбом врача всегда на неизменном расстоянии. И усиливая в себе восторг, вспоминает тов. Габай былое.

... У фотографического заведения "Фабер и зятья" (угол Соборной и Калантыровки) стояли они вечерами. Подходил к ним городовой Тимчук (бляха № I?).

— Не поднесете ли цигарочку, господа гимнастики?

— Габай, угости сана-атрала, — Казя сильно заикается и поэтому не успевает улыбаться виновато.

— Благодарствуйте, — Тимчук пятью толстыми пальцами осторожно берет папирису.

А вот бегут по Калантыровке под свист мальчишек городские дурачки — малохольные — братья Берко и Яшка.

Брат Яшка считал себя служкой похоронной общинь. Непрошеннный, являлся он на все похороны, шел впереди процессий, ~~прив~~ время от времени дико вскрикивал:

— Дайте дорогу покойнику! Дорогу покойнику!

Брат Яшка мнил себя полицейским. При встречах с урядником отдавал рапорт по форме. Но он не умел, как городовой Тимчук, очень похоже делать зверские глаза и орать на прохожих:

— Осади на плитуар, а то шашку обнаружу!

Эти слова звучали у него, малохольного, в тоне проситель-

ном, увещевающем: осади на плитуар, а то шашку обнаружу...

Был у малохольных еще один брат — Сема-матрос. Сема-матрос был председателем Ревтрибунала в 20 году. Помнит Габай, как вывели махновцы Сему-матроса из бывшей Земской Управы.

Остановился Сева-матрос на ступеньках, увидел в толпе малохольных братьев.

Он стал стаскивать с ног шикарные шевровые сапожки, бросил их босым братьям.

— Возьмите, а то этим байстрюкам достанутся.

Не оглядываясь. шёл Сема-матрос посреди улицы в белых шелковых носках, и вслед по панелям двигалась толпа.

Почему отчаянный Сема не побежит, не ударит по усам конвойного, просто не ляжет, черт возьми, на мостовую — пусть их волокут за руки и за ноги. Неважно, что это глупо и ничего не даст. Почему он подчинился приговору людей другой жизни? Неужели можно надеяться, что где-то впереди, у ограды кладбища, или уже над могилой развязнут грязный платок на его глазах и не станут казнить?

Сема идет и потому соучастует в том, что должно произойти. Или он идет для людей из толпы и конвоя? Принято не бояться казни, и это ему не перешагнуть, в этом он не свободен даже на краю могилы?

Габай остановился.

— Осади на плитуар, — сказал малохольный Берко, — а то шашку обнаружу.

Правая нога его была обута в семин сапог.

— Дайте дорогу покойнику, — сказал Яшка.

Этот натянул левый сапог.

Габай стоял, а люди обходили его и шли, шли...

Спустя много лет увидит тов. Габай в кино погоню полисменов за гангстером. Они стреляют в него, ранят. Раненный гангстер бежит по пустынной ночной улице, бросается в сторону с панели, но видит, что до перехода, обозначенного "шашечками" перехода через улицу, шагов двадцать. Гангстер возвращается на тротуар, добирается до перекрестка, и только здесь четко сворачивает. Посреди улицы гангстер падает замертво.

Тов. Габай любит думать об этом. Он заменяет гангстера разными другими людьми. Анархистом, например. Так ему особенно

нравится: смертельно раненный анархист, спасаясь от погони, перекходит улицу в установленном месте.

И вдруг тов. Габай вспоминает отца. Отец его был врачом и перед лбом его вспоминается светлое зеркало с черной дыркой в центре.

Старуха была уже почти рядом. В пяти шагах — определил тов. Габай. Видел он ее отчетливо" старушку в рисовой шляпке. Совершенно трезвая одиночная старуха на мосту в такой поздний час — удивился тов. Габай. Но думать сейчас нужно о другом,proto, о чем всегда думать страшился.

Была их последняя встреча. На дне рождения у гимназического друга Кази гостили многие, но уже разошлись. Жена его ушла спать. Они остались вдвоем. Вдвоем над липкими рюмками, над объедками, над окурками. И пел тихо патефон песенку тридцатых годов про смелую чайку. Тихо сказал Казя:

— Скоро в"озьмут меня для чего-то. В торбу... И улыбнулся виновато, когда все сказал. Потому что заикался и опаздывал улыбаться виновато. Потом продолжал говорить:

— Не бегу я. Жду недвижно. Своего часа жду — какие страшные слова! Инстинкт желтого паука, притворяться дохлым, неподвижным, когда опасность. И, наверно, спасал инстинкт паука много. Но кто-то понял это. И паук перед этим кем-то уже бе-е-е-зашитен. Его погубил инстинкт с"сохраненья.

— Ты не уйдешь сегодня, — шепчет Лиза.

Медленно открывает глаза Габай и в какое-то мгновение начинает видеть, что смеются и гасят взгляд ее веки.

— Я пойду домой, — говорит Габай.

И закрываются его глаза, но успевают смотреть, как распахнулись близко ее ресницы.

— Ты ведь останешься со мной, — твердит Лиза.

— Нет, — Габай не сдается и уже просторно открыты его глаза.

В сущности, тов. Габая женщины занимали не больше, чем многое в ряду жизни. И вспоминая разное, он думает о женщинах, перечисляя, в списке. Может потому и остался тогда он с Лизой и долго еще потом, что это не было для него главным, не заслоняло мир.

— Почему ты не доверяешься своим чувствам, Габай, — удивлялась Лиза. — Почему веришь только мыслям? Нужно доверять чувствам, потому что они у всех одинаковые. У людей только мысли разные.

— Осади на плитуар, — говорил в ответ Габай, — а то шашку обнаружу.

— Никогда не могу понять твои щутки, — обижалась Лиза.

Тов.Габай привалился грудью к перилам. Медленно повернулся он голову и не увидел на мосту старуху. Он заглянул за перила. Далеко внизу черная поверхность воды вращалась медленно, как грампластинка. Плыл над водой туман. Тов.Габай медленно отжимался на руках и переносил через перила правую ногу, потом левую.

Он сидел над бездной.

Тов.Габай оттолкнулся руками и упал навстречу свисту и туману. И упал тов.Габай на мокрые доски моста. До перил было три шага. Медленно поднялся он и двинулся к перилам. Он перенес правую ногу, потом левую и прыгнул вниз. И опять он лежал на мосту. До перил было три шага. Он перепрыгнул через перила, и вновь оказался на мокрых досках моста. До перил было четыре шага.

1964.

ЯША ХЕЙФИЦ

В нигерийском порту Дуала к нам на пароход ворвалась пританцовывающая толпа местных жителей.

— Кто вы такие и что вам здесь надо? — по-английски спросил вахтенный штурман старика в брезентовых шортах.

— Я грузчик, — улыбаясь ответил тот.

— А зачем, например, они пришли? — указал я на двух парней, которые тоже приятно улыбались, всем своим видом, выразительными ритмичными движениями как бы показывая, что они тут не сами по себе, а с этим стариком.

— Это мои помощники, — с большим достоинством подтвердил старый грузчик.

Надеюсь, я не выказал удивления. В самом деле, почему бы грузчику и не иметь помощников — работа из пыльных. По ассоциации вспомнилось одно яркое детское впечатление.

Приезжал до войны в Ленинград великий Яша Хейфиц. Отец взял меня с собой на дневную репетицию знаменитого скрипача с оркестром филармонии. Зал был битком набит, потому что достать билеты на концерт посчастливилось немногим и кто мог рад был послушать игру Хейфица хотя бы на репетиции.

Оркестранты давно уже настроили свои инструменты, дирижер стоял за пультом, но Яша явно запаздывал. Наконец, на эстраде появился негр. Он бережно нес невесомую скрипку. Многие сразу же догадались, что это не Яша Хейфиц, а негр.

— Скрипку Яше вынесли, смотрите, смотрите, — зашептались в зале.

Вдруг негр кивнул дирижеру, тот взмахнул палочкой и... репетиция началась.

Разумеется, вечером играл сам Хейфиц. Негр только обозначал для оркестра игру виртуоза: точно, абсолютно точно выдерживая нюансировку маэстро, его цезуры, крещендо, диминуэндо и т.д. Но это был лишь спарринг-搭档, если пользоваться терминологией боксеров, лишь копиист, только — дублер.

Так что история с грузчиком негром и двумя его помощниками, к воспоминанию о Яше Хейфице прямого отношения не имеет.

СМЕРТЬ СУБЪЕКТИВНОГО ИДЕАЛИСТА

Такая процессия медленно движется по бесконечным галерейм, коридорам, лестницам тюремного замка. Впереди выступают два офицера со шлагами наголо, за ними конвойные волокут осужденных на смерть. Безмолвно бредут смертники. Рты их заткнуты кляпами (кляпы называют здесь "состками"), на головах у них мешки. Гулко отдаются под каменными сводами шаги, заливаются колокольцы, заливаются лаем низкорослые, раскормленные, что свиньи, собаки конвоя.

Замечено, что служебные псы относятся к происходящему да и к своим обязанностям серьезнее даже осужденных.

Заслышав звонкий лай, стремглав бросаются к камерам арестанты-уборщики, мордами в осклизлые стенки влипают надзиратели: никто не должен видеть процессию.

Ведут на казнь Х, У, и Караско.

Накануне вечером, как принято здесь, Х, У и Караско объявили о своих последних желаниях. Х просил тюремного священника молиться за упокой его души каждый второй четверг месяца в течение полугода. У - потребовал, чтоб его учили до утра грамоте. Караско пожелал умереть последним.

Всех троих привязали к столбам, врытым у стены замка.

Бабах! - и Х безжизненно обвис на веревках.

Бабах! - забился в конвульсиях У и затих.

Ба...ах, что же это, Господи?! Когда растаял пороховой дым, все увидели, что Караско исчез. У столба, к которому еще мгновение назад он был прикручен веревками, нашли только шпоры. Шпоры тускло поблескивали в свете факелов, позванивали мелодично.

Впоследствии, расследование показало, что, на самом деле, Караско и не было никогда. Он существовал только в безграмотном воображении У. В том, что у столба были обнаружены шпоры, нет ничего удивительного. Мог ли У вообразить, что Караско поведут на казнь при шпорах для верховой езды?!